

кам, но и на присужденные тюремные сроки были намеренно порознь распределены между ними.

Уже во второй главе “Записок...” Достоевский, сообщая о “самом отвратительном” первом впечатлении от Омской тюрьмы, вместе с тем замечает: “...но, несмотря на то, – странное дело! – мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой” [1, т. 4, с. 19]. Это “легче” писатель относил, однако, лишь к физической и бытовой сторонам каторжных условий и обязанностей арестантов. Вернее говоря, автор “Записок...” сознательно преуменьшает внешние тяготы каторги с тем, чтобы подчеркнуть внутренние – душевные, психологические, моральные, в его глазах, для человека несравненно более мучительные. В этом убеждает сравнение однотемных фрагментов “Записок...” и частных писем Достоевского, рассказывающих об Омском остроге. “Работа, – говорится, например, в одном из них, – доставалась тяжелая, конечно не всегда, и я, случалось, выбивался из сил, в ненастье, в мокроту, в слякоть или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на экстренной работе, когда ртуть замерзала и было, может быть, градусов 40 морозу” [1, т. 28, кн. 1, с. 170]. “Самая работа, – сказано в “Записках...”, – (...) показалась мне вовсе не такую тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и непрерывности ее, сколько в том, что она – *принужденная*, обязательная, из-под палки” [1, т. 4, с. 20]. Впрочем, и эта догадка не мешала по крайней мере самому автору “Записок...” трудиться на каторге ради спасения от тоски и укрепления тела.

“Есть, – читаем в том же письме, – давали нам хлеба и щи, в которых полагалось 1/4 фунта говядины на человека; но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен” [1, т. 28, кн. 1, с. 170]. “Также и пища, – корректирует себя Достоевский в “Записках...”, – показалась мне довольно достаточною. (...) К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. (...) Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. (...) Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей” [1, т. 4, с. 22].

Само каторжное жилище обретает в “Записках...” более мягкий и терпимый, чем в реальности, вид. Вот оно в описании Достоевского брату Михаилу: “Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимой холод невыносимый.

(...) Пол грязен на вершок, можно скользнуть и падать. (...) На стеклах на вершок льду. С потолка капель – все сквозное. Нас как сельдей в бочонке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (...) а угар нестерпимый – и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат (...)” [1, т. 28, кн. 1, с. 170]. И оно же в “Записках...”: “Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид – вид настоящего жилища, домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. (...) Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большей частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежду” [1, т. 4, с. 48].

Существенным образом пересмотрено в “Записках...” первоначальное представление Достоевского и о каторжном люде как скопище “убийц незначай и убийц по ремеслу, разбойников и атаманов разбойников”, всяческих “мазуриков и бродяг” [1, т. 4, с. 11]. В числе арестантов, действительно, нашлись и нравственные уродцы, как дворянин А-в, лжесвидетель, шпион и клеветник, которому ничего не стоило убить человека и для малейшей из своих прихотей; и личности безудержно своевольные: “привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать” [1, т. 4, с. 13], как знаменитый разбойник Орлов, поразивший писателя высокомерным презрением к людям покоряющимся [1, т. 4, с. 48]; и субъекты агрессивно-буйные во хмелю, как силач татарин Газин. Но тут же были и натуры кроткие, безобидные, как бывший молодой солдат Сироткин, безликие и зависимые, как добровольный прислужник повествователя Сушилов, или, наоборот, – с характером сильным и стойким, как старик-раскольник из стародубских слобод, и в остроге заслуживший всеобщее уважение, наконец, и нравственно обязательные, как лезгин Нурра и целомудренный дагестанский юноша Алей.

По мере знакомства Достоевского с обитателями каторжного острога в принципиально новом ракурсе открывается для него и само это подневольное “общезитие”, объединившее за одной стеной представителей едва не всех российских территорий, национальностей, вероисповеданий, сословий и родов занятий, а также лиц, виновных перед государственным законом, с его невинными жертвами – во всем многообразии их индивидуальностей, жизненного опыта и судеб. Из пенитенциария для особо опасных злодеев и извергов, т.е. заведения совершенно исключительного, оно все заметнее трансформируется в “Записках...” в миниатюру целой страны, даже человечества, в образ и в самом деле некоего общественного, семейно-домашнего союза. И, казалось бы, если не сколько-нибудь сносно жить, то по крайней мере